

---

НИКОЛАЙ КОНЯЕВ

## ПУТЕШЕСТВИЕ К ИЗНАЧАЛУ

Главы из автобиографической книги

В жизни каждого человека рано и поздно наступает период, когда не оглянуться невозможно. В год своего золотого юбилея оглянулся и я. И с горечью увидел: не только о далёких предках, но и о родителях своих, о малой Родине своей, да и о себе самом ничего-то толком не знаю...

Я не ставлю себе целью “выращивание” генеалогического древа. Хочу всего лишь в меру сил и возможностей заполнить многочисленные пробелы в книге судеб самых близких мне людей и белые пятна, образовавшиеся в моей личной биографии уже с “титulyного листа”. С начала начал.

### ПРАДЕД АКИМ ФЕДОРОВИЧ И ПРАБАБУШКА ЕЛЕНА ФЕДОСЕЕВНА

Изо всех своих бабушек и прабабушек помню только прабабушку по материнской линии Елену Федосеевну Савину (Курникову) – бабу Елечку, прожившую 109, а по другим сведениям – 113 лет. Допуская, что все-таки не 113, а 109, и точно зная год ее смерти – 1963, вычисляю дату рождения – 1854-й. Она была, по-видимому, из первых волн переселенцев в Сибирь, до замужества проживала с родителями в селе Моховой Привал. Оттуда и взял ее в жены кам-курский крестьянин Аким Федорович Курников (1858–?). В характер моего прадеда с рождения был заложен ген авантюризма. Пожив какое-то время в Кам-Курске, Аким Федорович вдруг сорвал молодуху в таежную глухомань, куда-то в верховье Алдана, на золотые прииски, и, по бытовавшей легенде, привезли они оттуда немало золотишка. Только вот куда оно девалось, на какие цели было употреблено, этого никто сказать не мог. Да и было ли оно, это золотишко?

Елена Федосеевна с Акимом Федоровичем родили четверых детей: Егора (1892–1961 – моего деда), Анастасию (1893–1974), Петра (1895–1972). Четвёртого, младшего, сына незадолго до семнадцатого года Елена Федосеевна отдала в работники в богатый дом в Моховом Привале. И надо же было такому случиться: юноша влюбился в замужнюю хозяйку. Завязался роман. О близких отношениях молодого работника с хозяйкой дома молва распространилась до Кам-Курска. Елена Федосеевна от греха подальше отозвала сына домой. Влюбленный пылкий юноша с горя застрелился. Его простреленную рубаху мать долго хранила в своем сундуке...

Об Акиме Федоровиче почти никаких сведений добыть не удалось. С большой долей вероятности предполагаю, что в молодости он занимался извозом, но постоянного двора не содержал. Когда же в семье один за другим

появилось четверо детей, кормилец вдруг пропал. Внезапное, необъяснимое исчезновение моего прадеда – самая таинственная загадка в истории рода Курниковых. Возможно, принял смерть от рук лихого человека все на том же тракте, поскольку по нему прошли и те, **“кто не в ладах был с законом, чтобы скрыться в зауральских глубинах от наказания... Рядом с авантюристом шагал праведник, рядом с тружеником – пустожил и пройдоха”** (Распутин В. Собрание сочинений в трех томах. Т. 3. – Москва: “Молодая гвардия”, 1994). Но не исключено, что позорно бежал, бросив на произвол судьбы детей, от своенравной, властной, неуступчивой Елены Федосеевны проторенной в молодости тропой на далекий Алдан и сгинул в тамошних дебрях с алчной мечтой о золотой жиле... А надо знать характер моей прабабушки Елены Федосеевны, чтобы допустить и такую “тяжелую” для Акима Федоровича версию...

Какое-то время Елена Федосеевна билась как рыба об лед. Затем в ее жизни возник другой Курников – Лаврентий Федорович (Лавруха) – старший брат Акима. Отставной солдат. Награжден знаком отличия ордена св. Георгия. Жил бобылем. Он-то и взвалил на свои надежные “георгиевские” плечи заботу о большой семье бесследно исчезнувшего брата. Жили они с Еленой Федосеевной душа в душу до самой кончины...

Летом 1918 года Омск был взят колчаковцами. 23 августа командующий Сибирской армией генерал-майор Алексей Гришин-Алмазов объявил о мобилизации 19–20-летних новобранцев, рассчитывая пополнить потрепанную в боях армию на 200–230 тысяч штыков.

Кам-курские большевики Михаил Демин и Иван Пожидаев на общем собрании призвали земляков к бойкоту. Было решено: **“Возбудить ходатайство перед Пустыньским волостным управлением о созыве общего волостного собрания с повесткой дня: не давать солдат в колчаковскую армию”. Жители деревни Нагорно-Бесстрашниково поддержали камурчан** (“Знамя труда”, 1989, 10 августа). Братья Егор и Пётр Курниковы по настоянию матери скрылись в лесах. Гражданская война ни на стороне белых, ни на стороне красных не вписывалась в их жизненные планы...

Колчаковцы не бездействовали. Для борьбы с большевиками и уклоняющимся от призыва повсеместно создавались карательные отряды, устраивались облавы. На видных местах был вывешен приказ за подписью А. Н. Гришина-Алмазова: **“За подстрекательство и агитацию против мобилизации виновные будут расстреляны на месте”**. В лесах были пойманы Кирилл Чудинов, Тимофей Захаров, Кузьма Киселев, Григорий Шаталов, Гавриил Захаров и другие. Избитых, их бросили в Тарскую тюрьму и военно-полевым судом приговорили к расстрелу. К счастью, приговор не был приведен в исполнение: после перевода в Омскую тюрьму все они были освобождены Красной Армией... В деревнях и селах допрашивались, избивались плетью и нагайками родственники “дезертиров”. Всего в Кам-Курске было избито более двадцати человек.

Здесь будет уместно отметить одну существенную неточность, допущенную краеведом В. Аношиным. В статье “За Советскую власть” (“Знамя труда”, 1989, 5 августа) он пишет: **“Курниковы Егор и Петр, Шаповалова Евдокия (мать большевика Григория Демина. – Н. К.) после жестокого избиения вскоре умерли”**. Уважаемый краевед дал маху. Ни Петр, ни Егор Курниковы колчаковцами пойманы не были. И уж, конечно, не умерли – они только начинали жить. Избиению подверглась их мать Елена Федосеевна, даже и под плетками не указавшая местонахождения сыновей и, вполне возможно, тем спасшая их от гибели в гражданской бойне... И не умерла – ей предстояла долгая жизнь...

Елена Федосеевна к старости снискала славу знаменитой на всю округу повивальной бабки. Знала травы и коренья, рецепты изготовления каких-то особых настоек и снадобий, надежно хранила в своей неистощимой памяти даты и числа всех престольных праздников, заговоры и наговоры, поверья и приметы, сказки и пословицы. Для односельчан она была своего рода “живой народной энциклопедией”. Многие милые моему сердцу подробности из жизни близких людей частью в неизменном, частью в измененном виде по крупицам вошли в мои произведения. В значительной мере Елена Федосеевна явилась прообразом одной из героинь повести “До поры до времени” – тетки Спиридонихи: *“... Она не в пример мужу была женщиной практичной. Умела*

снять зубную боль, остановить кровотечение, лечила детей от испуга и заикания. Знала заговоры, травы и коренья... В войну, со смертью дряхлой повивальной бабки, неожиданно для многих стала повитушничать, да весьма успешно, как теперь сказали бы: ее услуги пользовались спросом. И, надо полагать, одаривались щедро – одних платков и шалей запас не иссякал... В детстве Веремеев пробуждался иногда от дребезжания стекол в двойных рамах, кашля, шарканья шагов, вслушивался с печи в придушенный шепот вошедших незнакомых мужиков в подпоясанных тулупах, с заиндевовшими ресницами, бровями и усами. Лелька зажигала керосиновую лампу и раздувала самовар. Приезжие сбрасывали на пол шапки и тулупы, пили чай, сопя и отдуваясь. После чаепития Лелька надевала привозной тулуп, повязывала шаль... Уезжала в ночь. В соседнее село. К очередной роженице..."

Долгое время на ней держался дом. Она безраздельно властвовала в нем. Свекровка до самой своей кончины ни в чем не смела ей перечить. Да и сын Егор Акимович до старости не мог ослушаться ее даже в мелочах.

### ДЕД ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ И БАБУШКА АЛЕНА АФИНОГЕНОВНА

Дед по отцовской линии Ефим Васильевич Коняев родился в 1878 году в семье обедневших курских крестьян. В Кам-Курск он был привезен родителями предположительно в 8–10-летнем возрасте.

В молодости Ефим Васильевич уезжал на заработки куда-то в Кузбасс, где, вероятно, довелось порубить в шахтах уголек, поэтому для односельчан навсегда остался "шахтером". Он был росту невеликого, суров, широк в кости и силен неимоверно. Смугл, черноволос. Эта неславянская какая-то смуглость деда унаследована всеми его сыновьями и внуками.

Вернувшись с Кузбасса, женился на крестьянке Алене Афиногеновне Гололобовой (1880–1936), также из распространенной в районе фамильной династии переселенцев из Курской губернии. Алена Афиногеновна родила своему "шахтеру" дочь Елену (1905–1933) и двух сыновей – Егора (1917–1988) и Ивана (1921–1965 – моего отца). После женитьбы Ефим Васильевич крестьянствовал, но без особого успеха да и желания. Сдается мне, к земле у него душа не лежала. Бывшему шахтеру милее запаха весенней пашни были запахи дыма и раскаленного в кузнечном горне железа, а вкус угольной пыли – желанней пыли обмолоченного урожая...

До революции Ефим Васильевич с семьей жил в землянке с крохотными, почти не пропускавшими солнечного света окнами. С приходом большевиков выстроил избу, и был за то весьма признателен советской власти:

– Кабы не совецка власть, так и помер бы в землянке!

Но и в советские времена хозяйством не обзавелся. Не держал даже коровы. Были куры да поросенок. Работал в колхозе.

Бабушка Алена Афиногеновна, женщина кроткая, молча сносила незаслуженные обиды, а то и побои крутонравого мужа. В молодости она была здоровой, по-своему красивой, работающей женщиной, но к тридцати пяти – сорока годам сгорбатилась. Кое-кто из моих родственников считал, что из-за побоев мужа. Горбатая, в колхозе работать не могла. Управлялась по дому. Помогали дочь и сыновья. Затем Елена вышла замуж, отделилась, Егор пошел в колхоз учетчиком. Обязанности первого материного помощника легли на плечи младшего – Ивана...

Зимой 1932-го в семье дочери стряслась беда: раскулачили свекра со свекровью. Согнали со двора скотину, конфисковали дом, а семью вместе со старшим, женатым сыном Алексеем выслали. Мужу Елены Никифору Александровичу кто-то из сочувствующих "шепнул", что его, как сына "кулака", тоже включили в список для выселения. Не дожидаясь решения своей участи в принудительном порядке, Елена тайно свезла отцу сундук с вещами и через день-другой с двумя малолетними дочками Машенькой и Тонюшкой, мужем и бабушкой Евфимией Алексеевной бежали в Хабаровск, где в то время жил брат главы семейства.

В Хабаровске пришлось хлебнуть лиха. В двухкомнатной квартире двухэтажного казенного дома теснились семьи хозяев из четырех человек и "беженцев" – из пяти. Все работали на стройках. Девочки оставались под прищотром Евфимии Алексеевны. В 1933 году людей буквально косил голод.

Даже картошки досыта не ели. Однажды Елена Ефимовна пришла с работы усталая, прилегла отдохнуть и... больше не встала. В больнице признали "брюшной тиф". Она умерла 14 мая 1933-го.

Остался Никифор Александрович с двумя осиротевшими дочками – семилетней Машенькой и четырехгодовалой Тонюшкой. После похорон Елены старая Евфимия Алексеевна заявила вдовцу:

– Ты, Никиша, как хочешь, а я забираю девчонок и еду домой (дом в Кам-Курске не был продан). Там хоть картошка своя, да и дед Ефим с бабушкой Аленой не бросят...

В июне привезла внучек в Кам-Курск. Узнав о смерти Елены, в избу к старикам набегали соседи и родственники, поднялся переполох, плач, причитания... Дед вдруг встал, вышел из избы и направился под сарай. Прибывшие следом соседи чудом успели вынуть его из петли...

5 марта 2002 года на имя моей 78-летней матери в Ханты-Мансийск пришло неожиданное письмо из Хабаровска от 75-летней пенсионерки Верхотуровой Марии Никифоровны (Машеньки Гололобовой), моей старшей двоюродной сестры, о существовании которой я до того времени и не подозревал: "Здравствуйте, Василиса (отчества, извините, не знаю)! С сердечным приветом к Вам Мария – племянница Ивана Ефимовича Коняева. Все по порядку: моя девичья фамилия Гололобова. До 14 лет жила в Кам-Курске, наш дом был напротив Ковыршиных, а рядом жили Пожидаевы. Прошло много лет, и я решила разыскать Вас... Василиса, милая, я помню Вас девушкой и люблю, потому что Иван любил вас. У меня к Вам огромная просьба: если Вы живы-здоровы, напишите подробно о себе. У Вас, я знаю от своих родственников, приезжавших в Хабаровск, две доченьки (дочь и сын. – **Н. К.**), они мне сестры двоюродные (моя мама и Иван – брат и сестра), а я даже не знаю их имен... Сестрички, откликнитесь! Буду ждать с нетерпением!"

Завязалась переписка. Я попросил ее прислать свои воспоминания об отце-матери, деде Ефиме и бабушке Алене.

"Дорогой Николай! – пишет она 21 августа 2004 года. – Ну и задал ты мне задачку! Вот опять думаю: наш дед Ефим был рад новой власти. Раньше и я считала новую власть за благо. А теперь не считаю. Ведь это надо же было раскулачить деда (Александра Гололобова. – **Н. К.**)! Все хозяйство согногли со двора. У моего отца была лошадь, так и ее забрали. Помню, как баба Хима плакала, увидев свою лошадь с потертой хомутом шеей. И я помню эту лошадь. Ее звали Белоножка – на ногах были "белые носочки". Дед все наживал своим трудом. Пахал и сеял, убирал и молотил – все своими руками. Дети и родственники помогали. А детей у него было семеро – три сына и четыре дочери. Два сына и две дочери имели свои семьи, и всем хватало места в пятистенном доме. В одно мгновение все рухнуло: одних сослали, другие разбежались кто куда... Если б не было ее, этой новой власти, не нужно было бы никому никуда бежать. Жили бы все одним домом и были счастливы..."

Что я мог ответить пожилой сестре? Конечно, советская власть много дала русскому крестьянину. Но многого и лишила: самая большая, невосполнимая утрата времен коллективизации – утрата своего дома. Ни скотины, ни земли, ни прочего хозяйства и богатства – как бы то ни было, а все это при желании дело наживное. А именно Дома. Как места родовой ауры, хранилища векового опыта, лада и гармонии народной жизни. Которого, увы, уже не обрести!..

В 1936 году умерла Алена Афиногеновна. Егор к тому времени был женат. Как драгоценная реликвия хранится у меня единственная уцелевшая фотография семьи Ефима Васильевича, датированная 1933 годом. На фотографии дед, его внучки-сироты Машенька и Тонюшка, младший сын Иван...

Какое-то время Ефим Васильевич жил вдовцом. Надо воздать ему должное: не бросил, не запустил младшего сына. И, что немаловажно, дал ему, как и Егору, солидное по тем временам образование: Егор окончил восемь, Иван – семь классов.

Поначалу помогала невестка. Но когда Егор отделился, Ефим Васильевич женился другой раз. Будучи уже в солидных летах, вдруг продал избу и со второй женой, как в юности, опять махнул куда-то в Кузбасс. Как и чем они там жили восемь лет – теперь уже останется тайной за семью печатями.

В мае 1946-го к старшему брату Егору в Омск приехал призванный в июле сорокового в Красную Армию Иван. Годом раньше из Кузбасса в село Петропавловку соседнего с Большереченским – Муромцевского района вернулись отец с мачехой. Но уже в пятьдесят первом Ефим Васильевич слег.

## ЕГОР АКИМОВИЧ И БАБУШКА МАРФА ИВАНОВНА

Егор Акимович Курников, как и его отец в свое время, привез жену из Мохового Привала.

Бабушка Марфа Ивановна Петрищева (1897–1949) была младшей из двух дочерей зажиточной семьи Ивана и Елизаветы Петрищевых, имевших единственный в селе двухэтажный деревянный дом. После революции 17-го года дом конфисковали, в нем разместилась семилетняя школа, сгоревшая в 50-х. О том, как сложились судьбы Петрищевых в дальнейшем, доподлинно не известно, следы их пребывания в Моховом Привале теряются в 30-х.

Даже после вынужденного переселения в землянку у Петрищевых осталось кое-что из бывшего “добра”, как говаривали иные кам-курчане еще в 60-х, помнившие, что Марфа Ивановна переехала с приданным “на пятнадцати подводах”. Это немаловажное, но в большей степени мифическое обстоятельство какое-то время питало недобрые домыслы о том, что “Егор женился не на Марфе, а на ее богатстве”...

Мои дед с бабушкой прожили достойно очень непростые жизни, богатые на события, неожиданные, подчас трагические повороты и развязки, вызванные перипетиями непредсказуемой эпохи. Родили семерых детей, пятерых вырастили и поставили на ноги: Анну (1920–1957), Василису (1924 – мою мать), Федору (1927–1953), Нину (1929), Виктора (1933–1972). В 1922 году был рожден первый мальчик, но он умер в грудном возрасте, а последняя в семье девочка Маняша (1935) умерла четырех лет от роду...

В 1920-е Егор Акимович с женой и малолетними дочками проживали в пятистенном доме на “родовом поместье”. С рождением первых внуков Елена Федосеевна с Лаврентием Федоровичем перешли в избу. Но жили одним домом, как и заведено было испокон веков на Руси. Хозяйствовали умело и рачительно. К началу 1930-го держали 9 дойных коров, нетель, три лошади, овец, свиней, кур... В хозяйстве имелись конные сенокосилка, грабли, жатка, веялка. Работать приходилось в четыре пары рук от зари до зари. Девочки подрастали, им требовались внимание, уход, и Егор Акимович нанял домработницу – няню. Марфа Ивановна на протяжении всей своей короткой жизни собственноручно перешивала дочкам старые наряды из своего “приданого”. На одной с ними улице также успешно вели хозяйства большие семьи Архипа Прокопьевича Бобрышева и Ивана Михайловича Чеглакова. Но тучи над крепкими семейными гнездами сгустились...

Еще в 20-х кое-где в районе стали создаваться кооперативные сельскохозяйственные объединения. Коммунам передавались изъятые у крестьян постройки, племенные лошади, сельскохозяйственные машины. В 1928-м в селе Копьево в товарищество по совместной обработке земли “Красная зорька” согнали 18 крестьянских хозяйств, а к началу 30-го создали коммуну “Новая жизнь”, объединившую всех поголовно крестьян со всем их небогатым скарбом и скотом. Однако после сталинской статьи “Головокружение от успехов” в апреле 1930-го все мужики из коммуны разбежались...

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило “Мероприятия по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации”, положившие начало массовой ссылки. По Сибкраю был установлен план по раскулачиванию в 50 тысяч хозяйств, раскулачили же к лету 30-го – 60 тысяч. К районам сплошной коллективизации были отнесены Большереченский и Муромцевский. Постановление Большереченского райисполкома и райкома партии обязывало к началу весеннего сева объединить 92% крестьянских хозяйств. А так как в районе преобладало животноводческое направление, то и в Кам-Курске решили организовать крупный животноводческий колхоз. В соответствии с программой на столы комитетчиков к весне 30-го легли списки наиболее зажиточных, авторитетных земляков, “рассортированных” по трем категориям: а) “контрреволюционный кулацкий актив”, подлежащий “немедленному аресту, а их семьи – выселению”; б) “кулацкие авторитеты” (они подлежали выселению в “отдаленные северные районы СССР”) и в) “лояльные по

отношению к советской власти” (после раскулачивания их предполагалось расселить в пределах своего района на специально отведенных землях)...

Местные большевики хорошо понимали: успех мероприятия во многом будет зависеть от поведения середняка. А середняк пойдет в колхоз, когда увидит, что пошел зажиточный. Пошел зажиточный мужик, значит, дело стоящее, можно положиться на его чутье и опыт. Не пошел, и ты не торопись. Поэтому Егору Акимовичу, как и Архипу Бобрышеву, и Ивану Чеглакову, было предложено вступить по-хорошему и непременно в первую очередь, дабы показать пример середняку. Но и намек большевиков был прозрачен: или в колхоз – или в Нарым.

Почесав затылки, Бобрышев с Чеглаковым выбросили над своими хозяйствами “белые флаги”, но Егор Акимович оказался мужиком не робкого десятка и сказал как отрезал: “Нет!”. Организаторы колхоза не смирились с непредвиденным упрямством, но и сразу не тронули. Дали срок на размышления. Вероятно, поначалу связывало руки то обстоятельство, что в их сплоченных, несгибаемых рядах состоял родной брат Егора – Петр Курников. Да и сам Егор Акимович со многими из них в восемнадцатом году прятался в лесах от колчаковской мобилизации. Можно сказать, свой, сочувствующий в прошлом мужик, а вот поди ж ты!..

Какое-то время Егору Акимовичу многое сходило с рук. Его предупредили, пригрозили, подвели под “твердое задание”. Дед отныне должен был сдавать колхозу ежегодно энное количество молока и мяса. Но и подписывать такое обязательство он категорически отказался. Согласился лишь на сдачу молока маслозаводу при условии обмена излишков на сливочное масло.

И у комитетчиков лопнуло терпение. Из стола в конце концов была извлечена бумага со списком лиц “второй категории”...

В один из летних поздних вечеров 31-го сосед, имевший “свое ухо” в сельсовете, постучал в окно:

– Худая весть, Егор Акимыч! Принято решение о высылке. Плохо, вишь ли, выполняешь твердое задание, противишься советской власти. А еще и за сплутацию... Домработницу держал!

– Когда? – только и спросил мой дед.

– Может, завтра, может, послезавтра...

– А Петр? Братка что там говорит?

– А что твой братка? Братка в рот воды набрал, глаз не подымает. Так что не дреми!

В ночь на “послезавтра”, забрав жену, двух дочек – двухлетнюю Нину и четырехлетнюю Фешу, дед тайком бежал на лошади сначала в Большеречье, оттуда – в Омск, из Омска поездом – куда-то на Байкал, оставив на попечении пожилой матери внучек – семилетнюю Василису и одиннадцатилетнюю Анну...

Через день-другой после внезапного бегства половины большого семейства явились комитетчик Марк Прилепин с активистами – рябым невзрачным мужичонкой по имени Артюшечка (вот ведь как судьба играет с человеком – ни фамилии, ни отчества не осталось в памяти – только это имечко с уменьшительно-презрительным оттенком!) и Петром Акимовичем – родным Егоровым братом. Предъявили казенные бумаги и вывели со двора всех до единой коров, двух оставшихся лошадей, выгнали овец, свиней, описали инвентарь...

У Елены Федосеевны ноги подкосились, заревела в голос, уцепилась за рукав старшего сына.

– Что ж ты, антихрист, делаешь? Они-то хоть чужие, – кивнула на Артюшечку с Марком Прилепиным, – им не жаль добра чужого – своего не наживали! А ты-то, сукин сын, зачем пришел?

– Я не под собой... – потупясь, буркнул сын.

– Ты зачем пришел, я спрашиваю? Кого зорить явился? Мать родную? Брата? Я для того тебя, поганца, произвела на свет?

– Я не под собой... Должен был прийти... Есть распоряжение!

– А подотрись своим распоряжением! – распялась мать. – Что я без коровы буду делать с малыыми? По миру пустить?

Прилепин отталкивал плачущую Елену Федосеевну от растерявшегося сына. К бабке жались перепуганные, зареванные внучки Анна с Василисой...

– Егор тоже хорош... – бормотал Петр Акимович. – Думал, шуточки ему... Если б о семье заботился, был бы рядом с братом!

– Не приведи Господь! – накинулась на сына Елена Федосеевна. – Вон с родительского двора!

В один вечер активисты очистили большой крестьянский двор. Лишь переполошенные куры жались по углам к плетню.

Но и на том не завершилось.

– Сказывай, где сын?

– Откудова я знаю? Он мне не доложил.

– Бабка, не шути. Это не игрушки!

– На покосе он.

– Ты за кого нас принимаешь?!

– А кабы знала, не сказала.

– Потребуется, скажешь.

– Или будете пытаться, как в восемнадцатом колчаки? – нервно рассмеялась Елена Федосеевна и, задрвав подол, повернулась задом. – А ну давай! Мне не впервой! Сдюжила от белых, сдюжу и от красных!

Плюнули. Свезли на колхозный двор косилку, грабли, веялку и жатку...

– Дом тоже конфискован! – объявил Прилепин. – Отныне он принадлежит колхозу. Веди девчонок в избу. Потом решим, что с вами делать!

– Куда мы в избу впятером-то? Пусть девки в доме поживут!

– Кулацким детям не положено!

Прабабушку с внучками Анной и Василисой буквально вытолкали из дому. На дверь навесили замок. Через неделю вселили квартирантов – трех прибывших на маслозавод специалистов из Омска. Городские женщины вели себя тихо, сдружились с девочками, но к бойкой, острой на язык Елене Федосеевне подходить не смели и к себе не допускали.

К осени дедов дом раскатали, перевезли на улицу Задовку, собрали там впритык к маслозаводу. Для удобства квартирантов.

И поныне стоит дедов дом на Задовке. Потемнел, забронзовел от времени. Подведен под высокий фундамент. Долго еще простоит...

Лишь через полгода благодаря хлопотам настырной Елены Федосеевны вернули одну из дойных коров:

– Выкармливай своих кулацких внушек!

В начале 1933-го после почти двухлетних скитаний по Иркутской области вернулись, спасаясь от голода, Егор Акимович с женой и не с двумя, а уже с тремя детьми: 10 января в поезде по пути следования из Иркутска в Омск родился сын Виктор. Первый рожденный вне родины Курников...

Вернулись к разоренному гнезду. Одна изба на просторном, поросшем сорной травой дворе. А в избе девятерым и не повернуться.

Но, прощённые властью, Егор Акимович с женою вновь закатали рукава. Пошли в колхоз. Вскоре, как рачительный хозяин, Егор Акимович бригадирствовал на ферме, руководил полеводческой бригадой. Марфа Ивановна работала дояркой. Девчонки подросли. Стали понемножку обрастать хозяйством, подумывать о новом доме для большой семьи...

Егор Акимович прошел войну, вернулся цел и невредим. Благодаря извечной русской “помочи” под зорким оком старого Лаврухи выстроили новый пятистенный дом на месте конфискованного. Но бабушке Марфе Ивановне не долго пришлось в нем пожить – она скончалась в сентябре 49-го. После смерти жены Егор Акимович постепенно отошел от колхозных дел: все чаще стал он подражаться на строительство домов, избушек, бань в своем и близлежащих деревнях и селах...

*“Свезти бы дедовы постройки да со всей округи – получится деревня. Да еще какая! – размышляет герой моей повести “До поры до времени” писатель Веремеев о своем деде Петруне, прямым прототипом которого является Егор Акимович. – Солнечная, светлая. Веселые наличники, причудливые ставенки, жестяные петушки на тесовых кровлях! Веремеевские зодчие гремели по району, но тем дед и выделялся изо всей артели, что в эти “безделушки” вкладывал всю душу...”*

И поныне стоит “новый” дедов дом. Проживают в нем его младшая дочь – 75-летняя пенсионерка Нина Егоровна с мужем Анатолием Ивановичем Ячменевым (дочки давно отделились, живут своими семьями – старшая Алла в том же Кам-Курске, младшая Ольга – в Омске). Иногда я с горечью думаю, что вот уйдут из жизни старики, и – все, уйдет за ними дом “со всеми тайнами его”, как образно сказал один большой русский поэт, и засохнет на заднем

дворе вековая рябина, и осыплется трухой сопревший сруб затянутого илом дедова колодца с иссушенным временем, треснувшим повдоль бревном скрипучего “журавеля” по соседству с упавшим и сгнившим плетнем запущенного дворика умершей много лет тому назад тетки моего отца – бабушки Марфуты Гололобовой. И станут жить в нем незнакомые мне люди, которым вряд ли любопытно будет знать, какая драма русской жизни разворачивалась здесь, на этом пятачке Сибири, на протяжении всего XX столетия. . .

## ОТЕЦ

Отец, Иван Ефимович, родился 10 января 1921 года в деревне Кам-Курск Тобольской (на то время) губернии. Он был третьим ребёнком, младшим сыном в семье.

На фотографии 1933-го ему – 12 лет. Стоит в подпоясанной серой рубашке справа от деда. В широко раскрытых глазах – едва сдерживаемая озорная улыбка. . .

Отец был черноволос, крижист, широкоплеч, слегка косолап. С детства прилипло к нему прозвище – Цыган. Сызмала выделялся он из среды сверстников неукротимым нравом. И до конца дней своих не утратил свойственного ему чувства юмора. Вопреки суровым жизненным обстоятельствам – раннему сиротству, полуголодному детству, не терял бодрости духа и жизнерадия. С удовольствием играл на клубной сцене в самодеятельных спектаклях, устраиваемых комсомольцами и активистами. Вот уж не знаю, не могу себе представить, откуда он черпал репертуар, скорее, импровизировал, но импровизировал до того талантливо, что смешил публику до слез, до коллик в животе, до полного изнеможения. Не избалованные зрелищами односельчане после напряженного трудового дня валом валили в клуб исключительно на Ваньку Цыгана, и если вдруг выяснялось, что Цыган сегодня не играет, спектакль проходил в полупустом зале, если не отменялся вообще.

Играл на балалайке и гармошке. . . Впрочем, в те времена любой кам-курский парень, не освоивший гармони, не считался дозревшим до гулянок. Ефим Васильевич купил сыну гармонь, а по тем, опять же, временам хорошая гармонь считалась роскошью. Веселый гармонист – желанный гость в любых компаниях, на вечерках, “пятачках”. Обладая совершенным музыкальным слухом, отец играл виртуозно, и опять же, если Ваньки Цыгана с его голосистой гармонью по каким-то причинам не оказывалось на гулянке, вечер считался испорченным. На этой почве у отца случались стычки со сверстниками – гармонистами-конкурентами. . .

Ранняя смерть матери Алены Афиногеновны не позволила отцу продолжить учебу. Пришлось идти в колхоз. От своего отца он, кстати, перенял навыки кузнечного ремесла, очень пригодившиеся в жизни; какое-то время работал молотобойцем в кузнице, а затем смышленного, грамотного парня пригласили в сельсовет на должность секретаря-делопроизводителя. В то время на гулянках и приглядел он бойкую кареглазую Василису с толстой, длинной, чуть ли не до пят, косой – одну из четырех сестер большой семьи Егора Курникова. И Василисиному сердцу мил был неугомонный сельсоветчик-гармонист, но не столько отцу с матерью, сколько бабушке Елене Федосеевне очень уж претило видеть свою внучку замужем за “голью перекаточной”. В колхоз Коняевы вступили, но перебивались с хлеба на квас. Вообще, должен сказать, “сельский пролетариат” у потомственных крестьян никогда не пользовался большим уважением и почетом, не понимали и не принимали в свой круг труженики от сохи людей, равнодушных к земле.

В 1939-м или 1940 году отец поделился своим горем с племянницей Машенькой. Однажды он гулял с Василисой, а бабушка Елена Федосеевна где-то их скараулила и накричала, оттолкнула его. Он отошел и заплакал от обиды. И всего лишь через месяц с небольшим женился на одной из многочисленных своих воздыхательниц – молоденькой доярке Варюше. . .

А в июле сорокового пришла повестка в армию. И можно представить, как изумилась, вспыхнув от смущения, Василиса, когда женатый сельсоветчик, встретив ее в клубе и отозвав в сторонку, вложил в ладонь “на память вечную” свою единственную “взрослую” карточку. В 1952 году, увеличенная, вставленная под стекло в деревянную рамку, она займет свое место на стенах нашего дома.



Через полгода в армию пришло письмо от брата. Егор писал, что Варя оказалась девчонкой легкомысленной. Приехав в отпуск в 41-м и убедившись, что брат прав, отец расторг скоропалительный брак и отправился дослуживать.

Но вернулся в Омск через пять долгих лет, в мае сорок шестого, пройдя все круги выпавшего на его долю фронтового ада. Чтобы после короткой передышки еще раз пройти по уготованным судьбой ада кругам – теперь уже тюремно-лагерным. . .

Я часто мысленно корю себя за то, что в детстве не расспросил отца, не выведал, не выслушал его рассказов о войне и лагере. Да и рассказал бы он обо всем ребенку? Как и большинство фронтовиков, понюхавших пороху от первого до последнего дня войны, с боями прошедших от Подмосковья через всю Европу до Берлина, повидавших крови и других сопутствующих любой войне страданий и трагедий, он не любил воспоминаний. Да и мог ли я, девяти-десятилетний мальчик, только-только почерпнувший из школьных учебников самые общие сведения о войне, – мог ли я понять его, разделить с ним его правду, способен ли был увидеть пережитое его глазами?.. Потому-то и уклонялся он от ответов на мои не очень настойчивые, наивные детские расспросы. . .

Мне пятьдесят. Я уже на шесть лет пережил отца и вдруг со стыдом обнаруживаю, что почти ничего не знаю о его военных путях-дорогах и послевоенных мытарствах. Запоздалые запросы в военкоматы пока не приносят желаемых результатов.

В мою детскую память запали обрывки его редких, в основном по случаю Дня Победы, немногословных рассказов, как в первые месяцы войны их угордивший в самое пекло, разгромленный батальон попал в окружение, из которого горстка уцелевших бойцов выходила трудно и долго, босиком, в обмотках, голодные и завшивленные. Что стремительно развивавшие свой успех немцы в начале войны даже не преследовали окруженных, в открытую выходивших из лесов на дороги и проселки близ сел и деревень, а только с башен легких танков и кузовов машин показывали пальцами и с гоготом выкрикивали: “Рус Ваня! Рус капут! Сталин капут!” да выпускали для острастки или забавы ради короткие автоматные очереди. . .

Выйдя из окружения, отец вновь был зачислен в действующую часть, таскал на себе тяжелые катушки кабеля и, нередко лежа в снегу или весенней жирной грязи, под обстрелом с двух сторон восстанавливал поврежденную связь. На фронте вступил в партию. Был награжден медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, орденом Красной Звезды. Перенес тяжелую контузию. А в мае победного 45-го у щербатых стен рейхстага лицом к лицу столкнулся с земляком-танкистом Иваном Курниковым – сродным материнным братом, еще не ведая о том, что встретился с будущим родственником.

Но два послевоенных года его жизни для меня опять-таки сплошное белое пятно.

Воспоминания Верхотуровой Марии Никифоровны в письме от 21 августа 2004 года не вносят полной ясности в действительные обстоятельства “дела” моего отца:

“В 1946 году мне дали отпуск. Как я его выпрашивала! Билет бесплатный, так как я железнодорожница (работала в вагонном депо в Хабаровске. – **Н. К.**). В дорогу отоварила хлебные карточки. В Омске меня встретил дядя Егор. Он да еще дядя Иван были нашими самыми близкими и дорогими родственниками. У дяди Егора в то время находился дед Ефим. Не помню, жил или гостил у сына. (Гостил. Дед Ефим в это время жил с женой в селе Петропавловка Муромцевского района. – **Н. К.**). А в Омске тогда работал шофером папин брат Александр, у которого мы жили в Хабаровске. Он собирался в рейс и должен был подвезти меня до Кам-Курска. В Кам-Курске я гостила неделю, а по возвращении из отпуска опять заехала к дяде Егору. . . А там сидит твой отец! Радости моей не было предела. В военной форме, при медали, орден, а какие награды – не помню. Я еще пошутила: “Почему так мало?” Он, как обычно, ответил с юмором: “Эти-то кое-как выпросил! Давали орден Ленина, но я отказался!” Он в то время жил в Омске, работал на танковом заводе. Мне почему-то кажется, что он и служил в танковых войсках. С моим приходом он заторопился: то ли жил далеко, то ли на работу надо было. . . А в сорок седьмом получаю от него горькое письмо. Сообщал, что

работал в Омске на грузовой машине (где, когда – не знаю) и продал кому-то (один или с кем-то – тоже не помню) кузов зерна, за что и получил пять лет... Я была поражена: и жалость к нему, и злость за то, что он сделал, и деда Ефима жалко – ведь он уже старенький, и я помочь ничем не могу... Потом написала, но ответа не было. И почему мне никто о нем не написал? Или не знали, где он находится?”

Мария Никифоровна так и не узнала, что были у ее дяди не только судимость, но и побег. Председатель Кам-Курского сельсовета, рискуя должностью и головой, “выправил” другу детства паспорт на имя одного из колхозников колхоза имени Сталина Алексея Сизова.

Но вскоре, по-видимому, отец был задержан повторно. По рассказам матери, однажды в присутствии сослуживцев в центре Омска его узнал односельчанин.

– Иван! – окликнул он.

Отец обернулся на оклик, но вовремя спохватился.

– Коняев! – изумился земляк. – Почто своих не признаешь?!

– Ты ошибся, парень. Я не Коняев – я Сизов! – твердо сказал отец, глядя земляку в глаза в надежде, что тот хоть что-нибудь поймет...

Но земляк растерялся:

– Какой же ты Сизов? Ты чего, Иван, дурака валяешь? Разыгрываешь, что ли?

– Ты ошибся, парень. Обознался ты!

Сослуживцы, знавшие отца по фамилии Сизов, заинтересованно переглянулись.

– Ну ты даешь, – обиделся земляк. – Как же обознался? Кто у нас в Кам-Курске твою гармонь не помнит?!

Отец в сердцах сплюнул и пошел.

Бежать было некуда да и бессмысленно.

За ним пришли ночью на квартиру брата.

И было пять лет лагерей, известная в Заполярье “Мертвая дорога”.

Так отец впервые соприкоснулся с Севером...

Он освободился в конце пятидесятого или даже в самом начале пятидесят первого. Заехал в Омск к отцу и брату. И встал вопрос: с чего начать?

– Василиса замужем? – поинтересовался у Егора.

– Ну как, поди, не замужем в двадцать шесть-то лет! – предположил Егор. – Уже, поди, и дети есть.

– Да, конечно, замужем...

– А ты съезди, посмотри, – посоветовал Ефим Васильевич.

Послушайся сын отца, не совершил бы очередной ошибки!

– Нет, – сказал он, – не поеду. В Кам-Курске мне теперь делать нечего.

Он уехал в соседний с Большереченским Муромцевский район, в село Петропавловку. Устроился на конезавод кузнецом и ковалем. Сразу и женился. Но снилась Василиса. И щемило сердце: съезди! убедись!..

В январе пятьдесят второго, оставив молодую жену в Петропавловке, отец приехал в гости к тетке Марфуте Гололобовой да и застрял в Кам-Курске...

## МАТЬ

Родилась 23 апреля 1924 года в деревне Кам-Курск (но уже не Тобольской губернии, а Уральской на то время области). Выпестована бабушкой Еленой Федосеевной. В материных воспоминаниях о детстве бабушка едва ли не главная фигура.

... Часто вспоминает, как в престольный праздник Елена Федосеевна ставит в печь пироги, а старшенькие внучки, лежа на полотах, раздувая ноздри, шумно втягивая запах свежего печенья, крестятся и шепчутся заговорщицки:

– Дай Бог, чтобы пригорело! Дай Бог, чтобы пригорело!

– Нюська! Висилиска! Вы чего там, лихоманки, шепчетесь? Я вам пошепчусь! Я вам намолю вот!

А “лихоманки” шепчутся, потому что знают: если выпечка удастся, бабушка, вручив по пирожку, всю остальную стряпню выложит на стол для многочисленных гостей. Выглядывай потом с полатей да гадай – останется ли что-то на столе? А если пригорит, стряпуха рядом с горкой свежее испеченных,

аппетитных пирожков поставит миску топленого масла или густой – ложкой не повернешь! – сметаны и даст наверх команду:

– Прыгайте с полатей, лихоманки! Намолили, ешьте! Чтобы все мне умели, крошки не оставили!

В минуту грусти вспоминает, как после ночного бегства тяти с мамой наутро выходят с сестрой Нюрой со двора родительского дома, а из-за ворот избы напротив летят через дорогу обидные слова чумазых “алдошат” – многочисленных детей четы колхозников Алдошиных:

– Кулацкие девки! Кулацкие девки!

Горько и обидно. Еще вчера играли вместе!

Со слезами возвращаются назад, под крыло суровой бабушки.

– Баушка, за что?

– Уж я этим лихоманкам алдошихинским!.. – грозит Елена Федосеевна. – Не плачьте, не ревите! Вот вернутся тятка с мамкой, леденцов да пряников печатных привезут. Пусть тогда подразнятся!

Осенью тридцать первого мать вслед за старшей сестрой Нюрой должна была пойти в первый класс. Но не до забот о школе было убитой горем Елене Федосеевне. И следующей осенью внучку в школу не отправила. И никто не пригласил. А когда в тридцать третьем, вернувшись, спохватились родители, было поздно: дочка ни в какую – в школу не пойду! Не сяду рядом с первоклашками в свои девять лет! И ведь не пошла.

А пошла в колхоз в неполные четырнадцать... .

В июне 1941-го проездом из Алма-Аты через Омск на отдых в Москву завернул на родину в Кам-Курск один из многочисленных племянников Елены Федосеевны – дядя Игнат. В тридцать первом он, имея паспорт на руках, с благословения родителей скрылся от колхоза в далеком Казахстане. Начав там с рабочего на одном из крупных заводов, к сороковому году досрочно чуть ли не до начальника цеха. Поглядел дядя Игнат на двоюродных племянниц Василису с Нюрой, с утра до поздней ночи пропадавших на полях, и сжалось его сердце:

– Так дело не пойдет, – заявил двоюродному брату Егору Акимовичу.

– Пока я отдыхаю, оформляйте на девчонок паспорта. Буду возвращаться, заберу в Алма-Ату. Устрою на завод, обеспечу общежитием. Все лучше, чем в колхозе!

Отец с матерью и бабушка Елена Федосеевна на тайном совете пришли к единодушному решению: хуже все равно не будет.

Но если Нюре в сорок первом шел уже двадцатый год, то Василисе только что исполнилось семнадцать. К тому времени в соседней деревне Копьево сгорела церковь со всеми хранившимися там метриками. Но пожар и упростил задачу: матери выписали паспорт по сохранившейся метрике умершего брата двадцать второго года рождения... .

Однако паспорта не пригодились. После 22 июня спешно возвращавшийся из Москвы в Алма-Ату дядя Игнат лишь развел руками:

– Теперь уж не рискну. Кто знает, как все обернется? А вдруг затянется война?

...Хоть и была в Кам-Курске еще в тридцать пятом организована машинно-тракторная станция, но все работы выполнялись в основном на лошадях. Комбайнам выделяли лишь засоренные участки, чистые поля убирали жатками, сенокосилками с приводом. Как впряглась моя мать в колхозную работу задолго до войны, так и не впряглась до 1952-го. Пахала, сеяла, косила, стоговала... . Работала на жатке и косилке. На лошадях, а то и на быках возила в Большеречье зерно для сдачи государству, зимою – сено и солому с полей на конный двор и ферму... .

...Во время войны в осиновых колках и березовых рощах нередко обнаруживали дезертиров. По трое-четверо, в полувоенном-полугражданском. Иногда они случайно выбредали на детей и женщин – грибников, покосников, ягодников. Сельчане панически их боялись. Столкнувшись, бывало, лицом к лицу с чужими – небритыми, обросшими мужиками, – бросали наполненные костяником или груздями ведра и корзины и с истошным визгом сломя голову, в кровь оцарапывая руки, ноги, лица, кидались врассыпную сквозь боярышник к проселочной дороге. Дезертиры и не думали преследовать – напротив, шарахались в глубь леса. Как правило, за неделю-другую до обнаружения село полнилось слухами об исчезновениях то в одном, то в другом дворе теленка или поросенка, гуся или петуха, а из амбаров на окраинах улиц таин-

ственным образом исчезали шматы соленого сала, из погребов – кринки со сметаной, склянки с молоком и маслом, иногда и кадушки с солениями и бидоны с брагой... Становилось ясно, кто “мышкует”, ибо по дворам никогда не шарилась даже вездесущие заезжие цыгане, ежегодно с весны до белых мух табором стоявшие за огородами на берегу озера...

Как от смешного до трагического – один шаг, так порой и от трагического до смешного. В одно лето объявился в Кам-Курске здоровый – под два метра, рыжий, краснолицый мужичина. Немой. Печник. Ходил по деревням, подряжался класть печи. К кому нанимался, у того и ночевал и харчевался. Безобидный, безотказный и неприхотливый. И мастер неплохой. Но была в нем странность – уж очень он любил здороваться за ручку. Причем по нескольку раз на дню. И не только с хозяином дома, но и непременно с каждым членом семьи – от мала до велика. И вот зашел он как-то раз в субботу, в банный день. А в доме на полатах прабабушка Елена Федосеевна да мать с подоткнутым на поясе подолом: банный день в семье обыкновенно начинался с уборки и мытья полов. Зашел (а он клал печь в избушке на дворе), раскланялся. Елена Федосеевна подала с полатей руку – поздоровался с прабабушкой, от печки – к матери по вымытому полу в пыльных башмаках. А у той в ногах – поганое ведро, в руках – сырая тряпка, и настроение ни к черту. В сердцах возьми да ляпни:

– Шел бы ты, немтырь, не шлепался по мытому! Здравойся с тобой по десять раз на дню!

Немой оцепенел с протянутой рукой. Улыбка медленно сошла с лица. Побагровел и, вращая налитыми кровью яблоками глаз, потрянул головой, произнес вдруг громко и отчетливо:

– Дунька деревенская! – Повернулся и вышел.

Тряпка выпала из материных рук...

– Баушка, ты слышала?!

“Баушка” кошкой спрыгнула с полатей, набросила дверной крючок на петлю, заметалась по окнам:

– Что ж ты, девка, натворила! Что же ты наделала?

...Мать и прабабушку всю неделю ежедневно вызывали в сельсовет, еще и еще раз просили рассказать в подробностях, как все произошло, на что Елена Федосеевна неизменно отвечала:

– Висилиска развязала немтырю язык!

Мужики устроили облаву в близлежащем колке, но “немого” и след простыл...

В 1945-м бывшей “кулацкой дочке” вручили награду – медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”. Порадовалась, но и впервые всерьез призадумалась: а дальше что? Так всю жизнь и чертоломить за палочки в бригадирской тетрадке – пустые трудовни? Подруги одна за другой выходили замуж, отделялись от родителей, рожали и впрягались в извечную крестьянскую работу, на новом витке повторяя незавидные участи своих матерей и бабушек...

Разглядывала тайно фотокарточку Ивана: “На память вечную...”

“Где ты, бедовый гармонист? Куда ты запропал?”

О том, как состоялась встреча отца с матерью через двенадцать лет, расскажет словоохотливая Гусариха из моей повести “Околоток Перековка”:

*“... Ушел он на войну. Ушел да и пропал... Думали, убитый... В селе играют гармонисты, да что-то все не так, душу не берет. Цыган, бывало, развернет – мертвого подымет. Вот уже пятидесятый. Зимой лежу на печке – то ли праздник был какой-то, то ли, как сегодня, выходной – слышу: на задах гармонь играет. Сердце, Сима, дрогнуло. Дыханье затаила – наяривает гармонь! Сестрице говорю: “Нюська, ведь Цыган играет!” Та на меня как на больную: “Какой тебе Цыган? Цыган давно пропал”. Молчу, а сердце бух-бух-бух! И что, Симуня, думаешь? Не усидела на печи. Скок с верха долой, за пимы схватилась. Тятя: “Ты куда?” – Я: “Тятя, до гармошки. Ведь Цыган вернулся!” Тятя заругался: “С тобой все ладно, девка?” Я дверью хлоп и – ходу... А он сидит себе, христовенький, народ вокруг собрался... Во как, девка, дело было. Вот какая встреча!”*

Все так и было: мать узнала отца по гармонии. Только гармонист играл не на “задах”, а прошел вдоль улицы мимо окон в клуб. И когда на зов гармонии следом прибежала мать, отец играл, сидя на стуле в плотном кольце слуша-

телей. Увидев ее, прервал игру и резко встал со стула. Скинул с плеч ремни и, как заведено для куражу у классных, знающих себе цену гармонистов, не поставил гармонь на освободившийся стул, а вручил стоявшему поблизости подростку.

– Подержи, приятель! – Сквозь расступившуюся толпу через зал уверенно прошел к разряженной от мороза матери, растерявшейся вдруг от нахлынувшего волнения. – Здравствуй, соседка! Не напоишь ли водичкой заезжего гармониста?

– Как не напоить, если просит гармонист.

– Ну, тогда веди.

Они вышли из клуба, молча прошли расстояние в тридцать метров до калитки ее дома.

– Ты думаешь, я вправду пить хочу? Я твой голос хочу слышать, – прервал отец неловкое молчание.

– Зачем, Иван? Ведь ты женат, – только и сказала мать. – Не может быть, чтоб в тридцать лет был холост.

– Да, женат. Но я к тебе приехал.

– Не поздно ли надумал?

– Не поздно, Василиса. Так уж получилось. Не спрашивай, где раньше был. Долгая история...

... На третий день отец заслал к Курниковым сватов.

## ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ

После успешного сватовства отец взял расчет с конезавода, подал на развод со второй женой. В Кам-Курске купил избу, перевез из Петропавловки больного отца с мачехой и устроился на маслозавод кузнецом. И тут случилось событие, ставшее нешуточной преградой на пути соединения в брачный союз моих будущих родителей, тяжелым испытанием на прочность их чувств...

Из Петропавловки примчалась “разведенка” с упакованным в “конверт” трехмесячным младенцем на руках. Что побудило ее к такому поступку? Отчаянная попытка вернуть отца ребенку? Жажда отмщения, свойственная иным женщинам в подобных ситуациях?

Бросив на стол “конверт” с заходившимся от плача сынишкой, выстрелив жгучими от ярости зрачками глаз в остолбеневшую мать, она метнулась, хлопнув дверью, из оцепеневшей избы. Как вскоре выяснилось, в сельсовет...

И тогда отец развел руками:

– Ну вот и всё! Теперь ты знаешь всё.

У матери слезы брызнули из глаз.

– Но почему ты сразу не сказал мне о ребенке?

– Боялся тебя потерять. А теперь ты знаешь, – повторил он глухо. – Вот, решай.

Мальчик на столе заходился от плача. На переполох, устроенный неожиданной гостьей, сбежались материны сестры, отца тетка Агриппина. Охали да ахали:

– Грудь ребенок просит! Его кормить пора!

– Куда ж она сорвалась, мамаша непутевая?!

Отец взял “конверт”, неумело стал баюкать...

– Молочка б мальчонке!

– Соску бы найти!

И тогда мать, вытерев глаза, приняла “конверт” из рук отца, сложила губы трубочкой, коснулась ими губ ребенка. Мальчик всхлипнул и умолк. Присосался, чмокнул, засопел...

Отец вынул из кармана пачку папирос и вышел во двор...

Брошенка жила в избе трое суток. Трое суток отец с матерью ночевали у родственников. Отца вызвали наутро в сельсовет. Что-то там внушали, напоминали о моральном облике и отцовском долге...

И всё-таки 5 марта 1952-го состоялась регистрация. Свадьбу назначили на первый день Пасхи, но ей не суждено было состояться: умер Ефим Васильевич. Последними словами уходящего из жизни старого шахтера был наказ:

– Ты, Ваня, Василису не бросай... Береги, не обижай ее. Она красивая у нас. Какая толстая у нее коса!

Ефим Васильевич умер на руках младшего сына. Вскоре после похорон мачеха уехала в Моховой Привал.

Отец предполагал обосноваться в Кам-Курске надолго, если не навсегда. Весной вскопали огород, посадили картошку, засеяли грядки. Жене он сразу заявил:

- В колхоз ты больше не пойдешь. Побереги себя.
- Куда же, если не в колхоз?
- На завод со мной. Я договорился. Директор обещал подыскать работу.

Вот только нужен паспорт.

Выписанный еще в канун войны по совету алма-атинского дяди Игната паспорт хранился в правлении.

- А отдадут, Иван? – усомнилась мать. – Ведь посевная на носу!
- Поймут, поди, по-человечески. Сходи, поговори.

Мать обратилась с просьбой к бригадиру, к председателю, но ни тот, ни другой не пожелали и выслушать:

- Никаких гвоздей! Чтоб завтра на работу!
- Иван не разрешает.
- А чего он хочет?
- Чтоб вместе на завод.

Зря она сказала это. Председатель взбеленился:

– Ах, вместе на завод? Все бы на завод! Не видать тебе завода, как своих ушей! Кто за вас в колхозе будет? Учти, не выйдешь завтра, я спрошу с обоих!

- Так ведь устала я... С четырнадцати лет!
- Вся страна устала... вашу... так – растак!

Мать вернулась из правления в слезах.

Утром отца пригласил директор завода. Потупясь, пошел на попятную:

– Извини, Иван Ефимович. Не могу твою принять. Приходили из правления... В общем, без обиды, сам все понимаешь – ни к чему мне шишки!

А вечером встретила встревоженная мать:

- Пригрозили с посыльным: если завтра не выйду, примут меры.

Смириться с такой жизнью отец не мог – не тот был у него характер. Он, повидавший на своем веку хамства и насилия в избытке, не ожидал столкнуться с ними в мирной, вольной жизни.

– В колхоз ты больше ни ногой! Не отпустят по-хорошему, значит, хлопнем дверью. Оба!

- Как это понимать?
- Уедем, Василиса.
- Куда? В какую сторону?
- А куда-нибудь. Туда, где ты и я будем под собой. Где не будет над нами конвоев с приказчиками!

Но от одной лишь только мысли о возможном переезде мать, с рождения не пересекавшая границ своего района, оробела...

- А есть оно, такое место?

– Есть. Я много повидал. Молочных рек с кисельными берегами нигде не видел – везде трудно живут люди. Но можно жить своим умом, если не лениться.

- И далеко это место?

– Да, не близко. Это Север.

– Ты с ума сошел! Не пугай меня так больше. Я слышала, туда гонят заключенных, а ты надумал добровольно!

– Не так страшен черт, как его малюют. Там можно жить в достатке. Охотой и рыбалкой. Тем же огородом. А у меня на месте руки. И голова на месте.

– Нет, я из Кам-Курска никуда, – отмахнулась, как от наваждения, перепуганная мать. – Да и кому и где нужна я, безграмотная пешка деревенская? И тятя не отпустит, и бабка заругается!

– Двадцать восьмой год тебе, а ты – “тятя не отпустит!”, “бабка заругается!” – вспылил мой отец. – Пора жить своей головой!

- Да и паспорт нам не отдадут.

– На память вечную себе пускай оставят! Я кое-что придумал, Василиса. Но до поры до времени молчи. Ни тятя своему, ни бабке, ни подругам – никому ни слова!

Фронтоник фронтоника поймет с полупапека. Секретарь сельсовета Иван Трофимович Огарков выслушал отца со вздохом понимания:

– Ну что ж... Вытаскивай свою Васюню из колхоза. С детства ее знаю – вытянула жилы... Справку на паспорт выпишу, но... О том, что у нее имеется довоенный паспорт, ни ты, ни Василиса мне не говорили. Берешь риск на себя. Как только получите новый паспорт, сразу и езжайте, а то спохватятся в правлении...

Так и поступили.

Отец съездил в Большеречье, сдал огарковскую справку в райотдел милиции. Стали ждать. Он, как ни в чем не бывало, продолжал работать в кузнице. Мать с нарастающей исподволь тревогой перед неясным будущим, какмышь в норе, таясь от родных и подруг, сидела дома, для отвода подозрений поливала и пропалывала грядки. Мысленно готовились к побегу.

И день тот настал. В первых числах августа из райотдела милиции на имя матери пришло извещение на паспорт. Утром к воротам подкатил грузовик. Отец вынес из избы все их с матерью совместное имущество, уместившееся в одном фанерном чемодане, да зачехленную гармонь, с которой никогда не расставался. Дверь закрыли на замок, ключ передали сестре Феше. Та долго ничего не могла понять.

– Куда вы собрались? К Нюрке, что ли, в гости? (Старшая сестра уже имела четверых детей, жила с семьей у мужа близ райцентра.) Когда вас ожидать назад? – моргала Феша озадаченно, с недоумением взирая на вещи в руках зятя.

Мать не сдержала слез:

– А сама не знаю... Уезжаем, Феша. На Север уезжаем!

– Да вы с ума сошли! Да вы чего удумали! Я вот тятю позову! Я вот бабку кликну!

Подошли соседи, набежали тетки...

– Да куда ты едешь? Да с кем же ты судьбу связала? Да завезет тебя тюремцем на край земли, бросит, проходимец, дурочку колхозную одну среди тунгусов диких на произвол судьбы-ы!!!

Отец молчал в сторонке. Каково было ему выслушивать все это от теток да своячениц – раскудахтавшихся куриц, в жизни не перелетавших через глухие заборы крестьянских дворов, в сердцах называвших его, фронтовика, тюремцем, проходимцем лишь на том основании, что выпало на долю испытать такое, что не каждому и снилось. Не озлобиться и не оскотиниться, а, пусть и с ошибками, и со спотычками, начать выстраивать свою – новую, семейную жизнь рядом с вольнолюбивыми и сильными людьми, каковыми, вероятно, представлялись ему северяне из окон лагерных бараков...

– Да ну вас всех, советчиков! Раскаркались не вовремя! – не выдержала мать и отдала водителю команду: – Чего стоим? Поехали!

...Менее чем через час были в Большеречье. Через полтора часа получили паспорт, а к вечеру отплыли на колеснике от пристани.

Нешуточным был план отца: из Большеречья – до Тобольска, из Тобольска – вниз по Иртышу до Ханты-Мансийска, оттуда – по Оби до Салехарда, из Салехарда – по Обской губе, краешком Карского моря то ли до Диксона, то ли напрямик до Дудинки и лишь из Дудинки – в Норильск. Предполагаю, отец знал этот заполярный город так же хорошо, как ямальские поселки Харп и Лабытнанги. По сохранившимся в моей памяти обрывкам, а то и всего лишь отдельным словам редких и скупых отцовых откровений о лагерьном прошлом, думаю, отец отбывал срок (возможно, часть срока) на строительстве единственной в мире Трансполярной железнодорожной магистрали вдоль северного побережья страны. “Железка” должна была прийти на мыс Каменный, где, по сталинскому замыслу, намечалось строительство самой северной в Советском Союзе базы подводных лодок, но что-то там, в проекте, не сошлось, не согласовалось, и в качестве конечной станции вместо мыса Каменного наметили Игарку. Строительство шло полным ходом. Только на надымском участке дороги в послевоенные годы было задействовано, по опубликованным ныне сведениям, более 130 тысяч осужденных и репрессированных. Более того, мне почему-то кажется, что отец отбывал срок именно на строительстве ветки Чум–Лабытнанги, открытой в 49-м и частично действующей до сих пор. К 1953 году две трети пути от Салехарда до Игарки было готово, но в год смерти вождя строительство прекратилось. Проектируемую “железку” в народе нарекли “мертвой дорогой”. О ней напоминают ныне лишь насыпи, заржавленные рельсы да обветшавшие лагерные бараки,

в которых, рассказывают, до сих пор живут отдельные особи из бывших покорителей ямальских недр...

Отец-то знал и ведал о трудностях грядущей “полукругосветки”... Не знала мать.

От Большеречья отплыли на главной – верхней палубе “дымного” колесника, сидя вдвоем на одном чемодане не только под мерное шлепанье деревянных плиц пароходных колес, но и под грязную брань и гогот ватаги полупьяных мужиков, завербованных куда-то чуть ли не на самый крайний Север. И мою мать, быстро уставшую от непривычно долгого путешествия, оробевшую перед новыми для нее людьми, не стеснявшими себя в поступках, в выражениях в присутствии женщин и детей на продуваемой холодными иртышскими ветрами палубе, перспектива углубления в неведомую глушь сломила окончательно. Едва сошли по трапу на дощатый настил тобольской пристани, она вдруг заявила:

– Я дальше не поеду!

– Что значит, не поеду? – оторопел отец.

– Не поеду, и всё.

Напрасно отец уговаривал. Ни в какую.

Потерявшая от страха перед неизведанностью голову мать категорически отказалась плыть до пристани Самарово.

– Если хочешь, поезжай один, плыви, куда глаза глядят, за рукав не уцеплюсь. С первым пароходом возвращусь назад!

– К бабке Елечке под крылышко? – подтрунивал отец. – Или к тятке с мамкой?

– Не смейся надо мной!

– Но ведь мы вдвоем, чего же ты боишься?

– Сама не знаю. Страшно мне!

Убедить, уговорить ее отец не смог. К тому же мать уже была на пятом месяце беременности. По-видимому, это немаловажное обстоятельство и не позволило отцу прибегнуть к решительным мерам мужниного принуждения. Он сдался. Точнее, сделал вид, что отступился.

– Ладно. Успокойся. Отдохнем, осмотримся в Тобольске. Может, что и высмотрим.

Трое суток провели в сибирском древнем граде. По утрам, сдав вещи в камеру хранения, поднимались в гору. С кручи любовались Иртышом, бродили тихими улочками деревянного города. Мать была в восторге от кремля. Отец время от времени осторожно возвращался к разговору о необходимости продолжения пути, но вскоре убедился: Норильск недостижим...

К исходу третьих суток изрядно надоевшего “тобольского сидения”, оставив мать одну в зале ожидания, отправился “в разведку” – порасспросить да выведать, куда можно податься молодой семье в поисках работы и жилья. Не возвращаться же назад не солоно хлебавши! Примерно через час привел с собою коренастого, зычного мужчину лет под сорок.

– Знакомься: моя бунтовщица!

– Бунтовщица твоя – баба с головой! – перебил мужчина. – Ишь чего удумал – к черту на кулички, в какой-то там Норильск! Чего в Норильске делать? Комаров кормить? У нас своих хватат!

От неожиданно свалившейся поддержки мать воспрянула духом:

– Я и говорю. Нечего там делать. Надо ворочаться!

Мужчина подал руку:

– Белкин. Василий Сергеевич!

Мать представилась ответно:

– Василиса Егоровна.

– Василиса Егоровна?! – удивился Белкин. – Надо же, какое имечко!

Прям из русской сказки! Нет, Василиса свет Егоровна, никаких Норильсков, но и ворочаться тоже ни к чему – давайте к нам на “Трудовик”!

Мать настороженно взглянула на отца:

– Что такое “Трудовик”?

Тот пожал плечами.

Белкин объяснил:

– Рыболовецкий промысел в двух верстах от Нялино. В Самаровском районе. Чуть выше по Оби. Райский уголок!

– Это далеко?



– Да рукой подать. И не сомневайтесь! – поставил точку Белкин. – Я везу людей по оргнабору. Завтра с рассветом отходим в Самарово, а оттуда в двух часах на катере. Будет вам работа и жилье... Ты, Иван Ефимович, рыбак? Не рыбак, так станешь. Обещаю. Еще спасибо скажете, что повстречали Белкина на своем пути!

Через трое суток быстроходный катер пристал к пологому левому берегу Оби с десятком рассыпанных в беспорядке крепких сосновых избушек. Выбросили трап.

– Господи, – вздохнула мать, – куда же мы заехали?!

*г. Ханты-Мансийск*

